

Два рассказа

Category: Hekayalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Два рассказа ДВА РАССКАЗА

- БЕЛАЯ КАФЕЛЬНАЯ СТЕНА

Однородное желтое раскололи как попало и вложили ему в рот; закрепили, и это держится. Губы, и так пухлые, выпирают, скрывая истерию желтых зубных строений, и оттого голова грушевидна, если видеть ее в профиль. Руки тонкие и гладкие у него, предплечья красивые своей равномерной чернотой, открыты закатанными рукавами, это по погоде еще, она держится ровная, как линия без единого перепада, как график без единого всколоха, пропорциональная, будто и не бывает так, потому — по погоде еще. Слово «Сенегал» он говорит, точно повторяет заученное, однако с гордостью, видно, повторяет много раз на дню, но сколько бы ни повторял, проговаривает быстро и со значением, кивая влево и вправо:

— Мама из Кении, папа из Сенегала.

Так на «Кении» голова идет по диагонали влево вниз, а на «Сенегале» уходит в правую диагональ, завершается произнесенное кивком, закрепляется: это правда, и это гордость; правда и гордость идет из уст, елозит по предплечьям (смотрите, черные, видите, черные), доходит до светлых ладоней, что таскают в себе не сбытый товар целыми днями, до ночи, до ночи: он гордится обоими родителями.

— Мама из Кении, папа из Сенегала, — и он швыряет встречным товар, швыряет в руки, или на колена, если те сидят.

«Подарок, — говорит. — Это подарок от меня». Затем — кто сколько даст.

Он гордится обоими родителями. Тощие ноги даже под ночь шагают бодро, обошлось ли без чего, обошлось ли обедом, был ли обед, но уже к ночи: извивы речные пошли в темень, изгибы парапетные пошли в темень, выступы барельефные пошли в темень, по темени ходим и мы, пошли в темень, из нее же вышедшие. Тощие ноги

шагают бодро даже под ночь: готовый броситься на оставшихся, идет по зигзагу от одного встречного до другого, ускоряется речь:

– Мама из Кении, папа из Сенегала.

Ускоряется шаг, и стервенеет сила броска, если кто остановился: «Подарок. Это подарок от меня». Но никто не хочет брать. Шапка вместила бы вторую голову: возвышается над макушкой, помпон мал и свалян, узор неразборчив. Серебро ткани по плечам, клетка из-под, как будто рубашка велика, рукава закатаны, и рукопожатие выходит из рукава по тому же предплечью, гладкому, тонкому, движется по, и контакт установлен: рукопожатие не сильное и не слабое, комфортное и крепкое, рукопожатие длительное – как будто забыл, что нужно отпустить. Углами вдоль набережной прокладывает свой путь, подходит к одному, потом как бы отскакивает от него, точно отталкивается, и уходит по диагонали к другому встречному, и все то же: рукопожатие автоматическое, но длительное, крепкое, однако не хватает чего-то вроде внимания к тому, кому он жмет руку, потому как таковое уходит в слова:

– Мама из Кении, папа из Сенегала.

Последние разбредаются. Резко холодает, у реки вовсе не остановишься, если одет легко. Последние разбредаются, остались только темные: круглые индусские глаза в обрамлении мясистых век белеют по темноте, иногда не видны; а вот совсем черные, совсем черные и разные, продают то же, многие сбыли мало, как вчера, мало, по крайней мере, каждый из тех, кто продает то же самое. А он все бодро идет, шаг его быстр, все быстр, будто не носился весь день от и до, потом обратно: от «до» и до «от». Не сбыл, да и разговаривать не хочется, даже на своем – не хочется, отдыхать – тоже не хочется. Говорить – только по необходимости, так он решил.

Если темп берешь, а не плетешься под стать усталому, который поддался, то и не чувствуется, а, наоборот, заводишься на одно и то же движение – ходьбу – и идешь, идешь, так и беги, пока не закончишь, пока надо, пока не будет столько денег, чтоб хватило. Может, другие иначе работают, у каждого свой метод. Но он бегал как заведенный с утра до вечера, но ничего почти

не сбывал. Говорить не хочется. «Сенегал» – говорил про себя, потому что очень много раз повторил за день, очень много раз: – Мама из Кении, папа из Сенегала.

Очень много раз повторил, очень много раз. И ему казалось, что повторяет на автомате – нужно же что-то говорить, нужна же эта точка, на которой заводишь беседу, кто откуда приехал, у всех руки разных цветов, и он своей, очень грязной, пережал уже сколько ладоней, ему-то хочется? И самому казалось, что повторяет на автомате, а «Сенегал» из раза в раз, сосредоточив в себе гордость, предвещал завершающий кивок, и эта загогулина всей фразы, это последнее слово и кивок, содержали в себе вес, которым мог бы обремениться разговор со своими после работы, или который мог бы оностальгировать думы, но: вот почему и говорить не хочется. «Сенегал» и кивок сразу после – то, что и есть, когда ты здесь один; то, что и можно донести о себе, когда у тебя нет времени на длительную беседу; то, во что ушло все о сколько-нибудь родном, потому что каждому хочется – хоть что-нибудь о себе. Так он говорил «Сенегал», иногда сливая с оканчивающим фразу кивком, иногда разделяя, но говорил с неизменным значением, нарочито утвердительно, пусть и быстро, и казалось ему: на автомате говорит, однако автоматически он лишь жал руку, иногда не видел и того, чью жмет, разве что мельком, но говорил – всегда правду. В «Сенегале» он открывал правду о себе, гордость за родителей, обретал свое значение перед стоящим напротив, делился – всем.

Как он состарится? Не состарится. Как скоро умрет? Неведомо. Где живет? Побудьте у вокзала, побудьте до ночи. Был ли обед? Не было ужина. Есть ли свои? Нет. Кафельная стена грязна от верха до низа. Общежития – рядом. Подходит: кафельная стена грязна, собрались здесь после того, как окончили работу на сегодня. Знает здесь кого? Да. Хочется жать руки? Нет, ни одному из них. Протягивает на автомате. Делали ужасные вещи? Каждый. «Ничего особенного» – жмут плечами. Мы такое видели? Нет. И это та причина, по которой нам кажется, что все очень плохо, либо очень хорошо. Кафельная стена грязна от низа (там особенно) до верха. Он увидел красные полосы, похожи на царапины, но не они, нет углублений, кафель ровен. Он увидел

две эти невнятные красные полосы, сколько им дней, да только сейчас увидел, и ему расхотелось здесь быть. Бодро, как бегал от и до, пошел прочь, один его окликнул, да замолчал тут же, перебитый чужим смехом, никто больше не обернулся – пошел и пошел, мало ли, куда надо, но, честно сказать, даже и не подумали звать его. Кто-то собрал больше, да, денег у кого-то на сегодня и на завтра, сколько надо есть, но ему до этого – ни одной мысли, даже не укололся завистью, да: кто-то собрал сегодня, и он знает это удовлетворение. Скажите, знаем ли мы удовлетворение? Ищем его, ищем его.

У реки – не выстоять, хоть и ветра нет, ни одно громоздкое перо не всколыхнет ветер, и короткое толстое симметричное древо у здания суда останется недвижимо, всю ночь будет стоять, зная, что его никто не тронет, есть у этого дерева знание собственной неприкосновенности, верьте или нет, оно осведомлено прекрасно: никто не доберется до его листьев. Но у реки невыносимо, нет, не выстоять у реки. Все разбрелись, от воды холод идет, обременительный, ничего не имеющий общего с цветом воды речной, птицы даже замолчали, «захлебнулись поди» – подумал, потому как, отчего птицы замолчали? Поздно. Рассвет будет, но не так рано, как летом. Никого у реки. Скоро поедут забирать мусор, и обода урн будут колошматиться об основания вперемежку со свистом уборщиков – громко, как громко, как чисто, как легко, как громко. То будет позже, а теперь – не выстоять у реки, и понесет к ней только того, кто решил броситься туда, и кому не нужно будет отогреваться после прогулки по набережной. Потому он пошел в другую сторону. Черный и гладкий кожей, она блестит, если смотреть на солнце, у какого белого так блестит кожная гладь?

– Мама из Кении, папа из Сенегала. – Сказал, и отозвалось это – по тишине прошло, он сам дернулся от звука, как во сне вздрагивают. Самому себе сказал так, будто рассказывает кому. Он услышал, пока не отошел еще от реки, как цепи ворочаются и звонят, биясь друг о друга и о камень, по внутренним сторонам парапета, точно из реки вышли, точно ветер поднялся и шевелит их, да нет ветра, и цепи – откуда цепи? Нет. Цепей нет.

Ни человека, идет он один, как заведенный. Дальше от реки, по

переулкам: стены старые и новые, повороты, переулки длинные и короткие, хоть куда выйти бы, пусть и знает город, хоть куда выйти бы, только от воды дальше. В переулках, точно в помещении, – потеплело. Не слышно – ни цепей, ни вод: ни то затихли, ни то, наконец, отдалился. Затихнуть вода не может, она идет, она бушует, и не молчит, когда птицы замолкают. На площади – ни одного. Мусор, меж камнями застряли окурки, как еда между черными зубами, еще – в лужах у фонтана: белые распухшие фильтры, представить, что издалека смотришь, – тела утопшие всплыли, но он не представлял. По-ночному грязно и пусто, гроыхнет где – сразу слышно. Последние навесы сложены, двери закрыты, ставни тем более, где-то по вечеру мели, да не вымели, сразу видно; вода утихла: на ночь сбавляют, кому нужен напор, и не идут струи, и не дрожит гладь почти, но подсвечена, и кажется голубой вода, чистая: на воду никто не замахнулся, в воду никто не бросил, она стоит и светится. Но и на воду он не смотрел, однако сбавил шаг. Металлические темные изгороди блестели, как руки его, а он шел вдоль площади, и все темно было, только вода светилась, голубая, иногда капало, слышно было; иногда вдалеке – голос какой одиночный, смешок, или машину завели: уехала, удалился звук. Сбавил шаг, и усталость сошла на него, легла на поясницу, как спрутова щупальца, обвила, отяжелила. Он прошел до другого конца площади, еще чуть-чуть, и выйдет в переулок, что ж, один здесь, и почему не крикнуть. Чтоб пробудились все, чтоб знали все. Крикнуть бы, ведь что площадь, полная людьми, пришедшими послушать тебя, что пустынная, – все одно, так закричи о себе и своем, и пусть пробудятся и откроют окна – хоть чтобы изгнать тебя отсюда, и пусть сирены завоют издали и приближаются пусть, – хоть чтобы изгнать тебя отсюда, отчего не сказать, всем им не сказать: «моя мама из Кении, а папа из Сенегала»? Но у него и в мыслях этого не было. Скольким он рассказал об этом сегодня, и каждый был слушателем ему, захочет, вспомнит, но скольким он рассказал уже об этом сегодня? Сколько пожал он рук сегодня, и не вымыл своих; но он и об этом не думал. Скоро приедут увозить мусор. Поднялся на тротуар. Дома в ряд, у стен темно, он сел в угол спиной: ни то

выемка, ни то дверь, но темный, темный угол; у церкви все занято, это понятно, там занято, хоть и не видно никого, и за стеной там Себастьян истекает, а сколько стрел в теле его? Он не знал, сколько, не думал даже. Он сел на тротуар, вжался в каменную выемку, чтобы потемнее; спрут отпустил поясницу, икры твердели от ходьбы; он заснул.

• ПОДБОРОДОК ВЕНЕРЫ

Выдвинул ящик, и снова втолкнул его – назад, ящик свободно ходит туда-сюда, и есть удовлетворение от того, как он бьется о заднюю стенку стола, отправляясь в закрытое положение. Потому он толкает ящик, как только завидит в нем купленную вещь (надо посмотреть, разок еще надо посмотреть), а она лежит на поверхности, и так близко, чтобы открыть, и сквозь щель сразу увидеть, только лишь свет падет на, а потом – захлопнуть, так, будто это ящик грешен, будто это ящик его заставил, будто это ящик ему преподнес, и тем самым отправил в неустойчивое положение – саму душу его. Так чувствовал отец, и ящик получил олицетворение, тогда как и животные не одушевлены. Задвинул. Дерево столкнулось с деревом, ящик встал на место, неподвижный, хранящий, ручка круглая, блестит золотым. Отец посмотрел на нее, как на хитрый глаз торгующего из-под полы, собрался, напряг дыхание, и отвел взгляд, решив успокоиться, решив отложить, сделать вид, будто ничего в этом ящике нет, помимо бумаг; он вышел. Служба прошла, и отец-то знал, что ящик невиновен, и думал об этом деревянном местечке как о ком-то добродушном, кого оклеветали, становилось неудобно. Отец пытался переложить свой грех на ящик, тогда как сам воплотил («еще не воплотил...» – поправлял себя отец) грех и вложил его внутрь стола. Затем он одергивал себя от дум, потому что ящик – это дерево, это предмет из дерева, и волоском оторвавшимся пробегало по лбу служителя господня что-то вроде капельки, это было свидетельство секундного панического состояния, потому как, одергивая себя, отец невольно думал, что заболел умом: только так он мог объяснить заиканность свою на ящике и все разветвление дум о

нем. Служба прошла; удовлетворительно: для сердец страждущих, для сердец верующих, но отчего не для него, отчего не для него. И будь он сейчас один, и не имей возможности скомпрометировать себя, он дал бы негодованию выход: в неудовлетворении своем верой, настигшем его с недавних пор, он чувствовал отдаление от места своего, предназначения своего, счастья своего. После каждого случая неудовлетворения службой отец ощущал мучение, подобное мучению Тантала, его как будто отдаляли, дергая за веревки назад, — дальше и дальше от того, что он вот-вот готов ощутить, но оставляя его в близости к этому былому счастью и благу: он как будто видел, до чего ему не дотянуться. Это походило на отдаление от реальности, на бесплотность предмета, который хочется взять в руки, на сновидение, на издевательство, на психическое заболевание, на выгорание, на муку; это было мукой. Отец держался, он смотрел, как расходятся люди, смотрел на тех, кто остался, смотрел на скамьи, на свет: как тот падал, однако избежал взглядом алтаря и, внешне спокойный, вышел. Ему нужно было посмотреть.

Он пальцами взялся легонько за круглую ручку и выдвинул ящик — ровно, как было сказано, чтобы узреть. Потом тихо закрыл: ему было совестно швырять ящик в обратный путь, ему страшно было слышать звук — дерево о дерево. Но он увидел, теперь он думал. Размышлял, как над важнейшей сделкой, размышлял, как над шахматной игрой, он был полководцем и стратегом: взгляните на его чело, там отпечатано, «на мне отпечатано» — думал он в страсти и в страхе, в страсти, страхе и в неприязни, о, это сочетание разверзает грудную клетку, и долго потом не сшить, долго потом не зарастить, и даже когда покрывается новой кожей, остается мягким это место, точно родничок: ничего не стоит раскромсать сызнова. Страсть была сильнее остальных двух, и отец уже чуял, как опутают нити безумия его глазные яблоки, потому что такая страсть — к безумию и ведет, он знал, но случилось ему, случилось ему. «Когда?» — он размышлял. «Когда?» — вопрошал так, точно ему будет указание, точно кто-то должен решить. «Но лишь дьявол может решить, и если я не себя вопрошаю об этом, то дьявола, потому я должен иметь силу». Так отец остался один на один со своим грехом, который

еще не случился, но уже пробрался в душу его, так считал он, и это было борьбой его, и это было испытанием его.

Еще несколько дней, и он продолжал заглядывать. Нужно было посмотреть. Этим действием он закреплял что-то, было так: перед службой – заглянуть, и дабы не подумать неправильное – тоже заглянуть, если он заглядывал в ящик с иной мыслью, чем той, какая должна была, по его мнению, сопровождать этот зрительный контакт, он заглядывал вновь сразу же после этого неудачного раза; это были этапы, много этапов, составляющих и измеряющих день, они имели начало и конец, – до службы и после, перед началом какого-либо дела и после. И каждый этап закреплялся созерцанием кляпа. Он лежал, новый и кожаный, с блеском круглых заклепок в два ряда по широкому ремню; ни залома по коже, ни царапины по любой из заклепок. Он лежал. И тем скорее, «тем скорее я кончусь, – думал отец, – чем дольше он будет и дальше...» И он смотрел, смотрел, он заглядывал, его страсть перешла в нервную, натужную, и ему не было больше так безоговорочно хорошо от страсти этой, как бывало, «когда не было его здесь, когда не лежал он здесь». Если страсть смешивается с неприязнью, если страсть смешивается с нервным напряжением, – в грудной клетке разверзается, и долго, долго потом не сшить. Он заглядывал и смотрел, изо дня в день; он потерял гладкость в моменте отхода ко сну: ему было как-то неудобно и тяжело – ложиться в кровать и засыпать. К концу недели он соорудил, или взял где-то, коробку с прозрачной крышкой. Добротная, деревянная коробка, на вид новая. Он положил в нее кляп, и крышка пропускала к нему взгляд. Кляп выглядел украшением, спрятанным в упаковку, он был на месте дорогого колъе, которое купили для подарка. Отец держал эту драгоценность в руках, потом положил коробку на то же место – в ящик, который был к тому моменту уже освобожден от бумаг. Ящик был предназначен отныне только для хранения новоявленной коробки. Созерцанию на смену пришло поклонение. Коробка вместе с содержимым лелеялась, а осмотр ее стал обрядом, который производился редко, но основательно, а не посредством быстрого взгляда сквозь щель. Дневные этапы больше не закреплялись, эта мания куда-то улетучилась, эта маленькая мания. Скоро после

того, как появилась коробка, настал день, и отец задался вопросом: «когда?».

– Когда все-таки?

Он смотрел сквозь прозрачную крышку коробки и ощутил, как спали с него оковы: «когда все-таки?!» – возопил он внутри себя, точно сорвал цепи, точно осознал, что добровольно организывает условия для того, чтобы рассудок его претерпел помутнение, так когда, когда все-таки? Он очистился и как-то разом все стало ясно, и он спросил себя еще раз: «когда?», и, будучи в готовности, понимая, он ответил – «завтра».

И пришедшим днем он стоял прямо, служил, как и служил до этого; он был – умен и верен, и он старался. Служба прошла, и он смотрел, как расходятся люди, смотрел на тех, кто остался, смотрел на скамьи, на свет: как тот падал; он вышел. Он остался один, время прошло после службы, немного времени, отдохнуть, переодеться, и тогда – он закрыл дверь, и он бросился к ящику, в открытии которого не было больше щели, и не было больше повода: того раздутого повода, который заставлял его поклоняться. Больше не было, но отец и не думал об этом. Он бросился к ящику, выдвинул его так полно, как получилось, он взял коробку и открыл ее. Ни разу еще не делав этого, он быстро пытался надеть кляп, но нелепо, получилось нелепо, и тогда он собрался: надел аккуратно, взял его в рот, завязал, и кожа легла по щекам, плотно, не образуя щелей, прилегла, а заклепки холодили щеки. Он опустил на стул, что стоял спинкой к стене, сел порывисто, руки скрестив за спиной внизу, вообразил: руки его связаны. Во рту его был кляп, он сидел так, представляя, что руки связаны сзади; он замер, и он заплакал.

Об авторе: ЕКАТЕРИНА ЕФИМОЧКИНА

Город Москва. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького в 2016 году. Пишет прозу. Neкаýalar